
Сухбат Афлатуни

Деряба

Рассказ

Горячее вечернее солнце светило на него, он щурил глаза, хватался за скользкие подлокотники и снова глухо кашлял. На западе, за холмами, уже шла ночь, сейчас темнота затопит всё, и его с этим плетеным креслом и с этим кашлем. И он исчезнет. Останется только хриплый, куриный голос из комнаты, повторяющий одно и то же на одной ноте, просящий, требующий, родной...

Он родился в девятьсот четвертом году, в казачьей станице, имя которой так часто менялось, что потеряло смысл. Он был третьим из выживших детей.

Он родился в девятьсот четвертом, и был назван Василием.

Семья жила небедно, он помнил выпуклые, умные глаза коров и густой звук от мух и слепней.

В тринадцать лет он уже был мужчиной. Он был костляв, с тонким ртом и серым морозным взглядом. Он был некрасив, но красота казаку и не к чему. Вот его красота — и он проводил пальцем по клинку отцовской сабли.

Гражданская вышибла его из дома. Отец был застрелен, старший умер от хвори, остальных размотало войной. Мать он так и не нашел, может, надо было сильнее искать, он не искал.

Он набавил себе три года, а выглядел он и так на двадцать. Войной отнесло его на Украину, он перекачивался от одних к другим, как зеленое, не ко времени сорванное яблоко. Веселее и голоднее всего было у анархистов, к которым он прибил под Николаевом. Анархизм утвердил его в спокойной ненависти к людям; эта ненависть давно, еще со станицы, сидевшая в нем, теперь оформилась идейно.

От анархистов перекатился в банду Архангела, державшего в ледяном страхе местечки. Сам он ненависти к жидам не разделял, но любил попугать их, а еще хохлов, которых отчего-то тоже считал жидами, хоть те и молились по-православному и ставили в своих хатах иконы. К религии он относился с молодой и едкой недоверчивостью, и когда при нем начинали про божественное, болтал ногами и сплевывал в траву.

Постепенно война и убийство ему наскучили. Ему надоело дышать кровью. Он слишком презирал людей, чтобы радоваться их быстрой и некрасивой смерти. Он глядел на трупы круглым, ничего не выражавшим взглядом. Он устал.

У него были красноватое безволосое лицо и тяжелый подбородок. Из-под грязной шапки выбивался серовато-желтый чуб.

Сухбат Афлатуни (наст. имя — Абдуллаев Евгений Викторович) — поэт, прозаик, критик. Родился в Ташкенте. Окончил философский факультет Ташкентского университета. Автор двух сборников стихов и нескольких книг прозы. Дважды лауреат «Русской Премии» (2005, 2011), лауреат молодежной премии «Триумф» (2006). Постоянный автор «ДН». Живет в Ташкенте.

Он дымил, как все, и ругался, как все. При виде женщин он нехорошо улыбался, но чаще брал свое даже без улыбки. Быстро и почти с рычанием, как юный зверь.

Это произошло в одном из местечек. Пока остальные архангеловцы делали свои дела, докалывая остатки местной самообороны, он прошелся по хатам. Хаты стояли пустыми и темными, жида бежали или попрятали себя, и он, больше для порядка, чем удовольствия, пострелял по стеклам. Пнул, как мяч, бросившуюся под ноги тощую курицу, и уже собрался к своим... как вдруг заметил, скорее, почувствовал, метнувшиеся женские тени. Две, нет, три. Бежали в сторону мельницы, прячась за кустами. Одна сильно прихрамывала.

Василий присвистнул и бросился в погоню. Трудно пришлось бежать, по плавням, в тумане. Тех, двоих, не нагнал. Зато на хромоножке отыгрался, ух как отыгрался. В глазах почернело аж.

Обычай, принятый в банде, требовал после застрелить или придушить ее. Но, поглядев и утерев с губ слюну, не стал. Не от жалости, а бис его знает, отчего. Натянув сырые штаны, побежал догонять своих. А та осталась в тумане.

Через день после того в перестрелке его ранило. Это его спасло. Отступая, архангеловцы оставили его у верных людей; на болотах банду окружили — кого постреляли, кого потопили в жиже. Самого батьку Архангела отвезли в Киев, судить и там же в подвалах по-хозяйски прихлопнуть. А Василия верные люди быстро выпроводили, чтобы беду им в хату не свел. Сунули сухарь и вытолкали. И он пошел по ночной траве, шатаясь.

Два дня лесами шел, питался редкой ягодой, пробовал грызть кору и не смог. И вышел, выполз к тому самому местечку. Смерти он не боялся, только бы пожевать чего перед тем, как прикончат. Но в местечке пусто было, ушли из него люди и жизнь.

Жидовка его узнала и собралась кричать. Василий зажал ей рот и захрипел в ухо: — Молчи... Будешь моей жинкой?

Это он добавил неожиданно не только для нее — она аж застыла — но и для себя, такого плана в голове не было. И он тоже застыл. А потом, разжав ладонь и освободив ей рот — она так и стояла и дышала — впился в него сухими губами. И она, хромоножка, на его ласку ответила. Так горячо, что почернело в глазах, как тогда.

Вздохнув, поволокла его на себе; он уткнулся носом в ее плечо.

— Эй... Зовут тебя как? — спросил только.

Сарка оказалась с дурным и пилючим характером. Как казачка, только еще хуже. Василий валялся в лихорадке, слушал, как Сарка все плетет свою длинную ругань.

— Русский чоловік, — хрипло говорила Сарка, — должен быть здоровый, крепкий, як рысак. Що ж мне такой хворий попался, а?

— Выздоровлю, задуш, сука! — отвечал Василий с печки.

— Ой, испугалась... На, попей!

Василий послушно пил.

— Что ты туда в воду бросила? — спрашивал, подумав.

— Що я могла кинути? Пусто в хате! Только пыль могла туда кинути... У других чоловіки як чоловіки, всё в хате есть, и это, и другое, а этот только хворити может...

«Врет! — думал Василий, утирая выступивший после питья пот. — Отраву бросила. Или плюнула. Колдовка...»

Василий выздоровел, но жену не задушил. Побил только один раз, и то не больно, а просто, чтоб знала.

Году в двадцать шестом Василий подался на работу в город, но быстро там устал и заболел. А едва выздоровев, перевез туда Сарку, она уже была с животом, ждали второго.

Всего она родила ему троих. Первый, Игнат, пошедший в породу Василия, помер в детстве; а двое других, черненькие, в Сарку, крепко уцепились в эту жизнь. Марк и

Римма, это уже Сарка им такие имена сочинила. Василий рукой махнул: к детям у него наблюдалось равнодушие. В городе ему было тесно; обилие людей, бегающих вокруг, вызывало в нем тошноту. На работах он быстро уставал, хлопал дверью и уходил, но Сарка не давала ему полежать, толкала, кружилась над ним, как оса, и гнала на новые работы.

Сама она выучилась шить и стала портнихой; к ней приходили женщины, такие же шумные, как она; по всей комнате валялись лоскутки и даже в супе плавали пуговицы. После родов Сарку разнесло в бедрах, она стала активной, от ее активности все вокруг шумело и трещало, но мало что делалось. Она варила мутные, как мыльный раствор, супы, которые теперь звала бульонами. Она изводила Василия, а ночью клала ему голову на живот и плакала. От нее шел запах керосина, кухонной гари и мыльца, которым чертила на тканях. Но с годами он переставал чують запахи, огорчаться и радоваться им.

Редкие бабы, с которыми он нет-нет да погуливал, быстро под ним выдыхались и отворачивались, кажа ему мокрые спины с вмятинками от бюстгальтера. Городское это слово он так и не освоил, долго путал с «бухгалтером», да и даже через годы городской жизни произносил его то как «брызгальтер», то еще как-то, что бабы тихонько давились смехом. Смеяться ему в лицо они не решались, боясь его мертвого взгляда.

А Сарка была не такой: знала подходы. Знала, когда можно ругать, а когда замолкнуть. А когда — прижаться, исчезнуть под ним, утешить. И он держался за нее, зубами и ногтями, точно боясь остаться один на один с этим миром, с этими людьми и глупыми бабами, которые не умели ничего понять. С самой этой ненавистью, которая если бы могла выплеснуться из его глаз, то сожгла бы весь мир, как кислота.

Сарку он тоже ненавидел, но по-другому, от тяжелой своей любви. И всю ее родню, которая приезжала к ним в комнату, и надо было уступать топчан и слушать долгие разговоры на их языке. Его родня тоже пару раз наезжала, и это было еще хуже.

Постепенно он привык к Саркиной горластой родне, к другим чернявым, которых сновало вокруг все больше, злоба на них стала тихой и привычной, как боль от раны на погоду. Он даже развлекался, угадывая в газетах и по радио их фамилии, а если сомневался, то уточнял у Сарки. Дети ходили в школу и показывали ему вечером пятерки.

Что-то он даже полюбил. Любил тир в городском парке, к которому выстраивалась очередь из желающих, но его как матерого стрелка пропускали вперед. Любил Черное море, к которому они пару раз ездили оздоравливать детей; любил его пустынные пляжи с поблескивающими трупами медуз. Любил дрозда-дерябу, жившего у них на подоконнике в тесной клетке. Сам его, подбитого, выходил и поселил здесь к радости детей и недовольству Сарки; кормил, чистил клетку и слушал веселые звуки, которые тот издавал.

Они разжились еще одной комнатой, соседа по коммуналке как раз удачно посадили. Его, Василия, тоже как-то раз взяли, но не за политику, а по работе, но тут за ним было всё чисто, подержали и выпустили. Следовательно был тоже по фамилии Рубинштейн, кстати... Жизнь, поскрипывая, ползла вперед.

Иногда только ночью накатывало ледяное непонятно что, вспоминалась Гражданская и убитые; мертвых он не боялся, но вот из живых кто-то мог нечаянно встретить его и признать... И его окатывало морозным потом, он хрипел и будил Сарку, и та все понимала и только шепотом просила не так сразу... Он смотрел на белевшую в темноте, распластавшуюся Сарку и думал, что ведь и она может его выдать, заложить или отравить... и знал, что не может. И зарывался в нее, стыдясь этого темного счастья и слабости.

Работал он в последние годы в торговле, куда его засунула Саркина родня, работал без огонька, но не воруя; не столько из честности, сколько из отсутствия фантазии и презрения ко всему. К тридцати пяти он почти облысел. И тут началась война.

Его призвали. Он успел запихнуть Сарку с детьми в набитый вагон и ушел воевать, собираясь при первой okazji сдаться в плен. Оказия представилась быстро.

Потом был немецкий лагерь, из него он тоже вышел быстро. Новому порядку нужны были такие, как он. Спокойные исполнители с холодной искрой в глазах.

Он снова убивал, спокойно, слегка устало; без той истерики, которая была у молодых. Те убивали ненасытно, бестолково, точно продали душу дьяволу. Он же никому своей души не продавал. Он не был даже уверен, есть ли она у него. Он служил в Белоруссии.

Он презирал немцев, за их слабость, чистоплюйство и задранный нос и, дай волю, убивал бы их, как сейчас убивал евреев, белорусов и других, кого приказывали; мертвые не имели для него национальности. В лунные ночи мысли иногда возвращались в прежнее время, он вспоминал клетку с дерябой и горьковатый запах из нее, вспоминал теплые руки Сарки. Ее фотографию с детьми, зашитую в немецкую шинель, он таскал с собой.

У него были бабы, короткие, быстро забывавшиеся, не то всё. Хотя и молоденькие случались, и с внешностью. А всё после этого дела сплунуть хотелось, и он курил и сплевывал. Заколдовала его, что ли, Сарка? Может, и заколдовала... И скучал по ней.

К середине войны он выдохся. Злоба и боль, накопленные с Гражданской, были растрачены. Расстреливал и жег он уже спустя рукава. Да и чувствовал, что весь этот их ордунаг ненадолго, думать надо, думать. И он курил и думал, и давился кашлем. Ничего так и не придумал.

Спасло его, как и тогда, ранение, ступню оторвало. Не иначе как родился в рубашке. Форма, документы, все сгорело, все в дым ушло.

В сорок пятом, на костылях, он добрался до Ташкента.

К нему выбежала, прихрамывая, Сарка, худая, желтая и еще больше подурневшая. Он обнял ее и чуть не завыл от радости. Вокруг крутились подростки, Марк и Римма. Он обнял их тоже.

Сарка собралась возвращаться на Украину, но он сказал: «Нет».

Сарка посмотрела на него своими большими совиными глазами:

— Ты шо, собрался всю жизнь стирчать в этом Ташкенте?

Он сказал: «Да», — и поглядел так, что Сарка замолкла и напыжилась, точно собиралась заплакать, но вместо того стала мыть пол.

— У всех, как у людей, — хрипло шептала она ночью, — все вертаются, всем уже этот табор поперек горла, все мечтают домой...

На следующий день Сарка ходила с синяком на руке. «Об стул ударилась», — объясняла детям и прикладывала огуречные очистки.

И они стали жить в Ташкенте. Ему сделали протез.

Первое время он валялся по больницам, пока Сарка его не забрала и не выходила дома. А может, и не выходила, а так допекла своим нытьем, что он встал со смятой кровати и снова включился в жизнь.

Он работал на тихих должностях в одном, потом другом тресте; он носил чужую медаль «За отвагу», тяжелый серый кругляш, купленный по случаю на рынке, который здесь все звали базаром. И он со временем тоже стал звать здешние рынки базарами, а вместо «сходить на рынок» говорить «сделать базар».

В конце концов, ему здесь больше подходил климат, кашлял меньше. Скучал только по морю и по дрозду-дерябе. Дети, желая его порадовать, поймали ему на день рождения какую-то местную певчую мелочь и поднесли вместе с клеткой, но он их только отругал.

Сарка продолжала стрекотать на своем «Зингере», обшивая его, детей и шумных женщин, прихоронивших к ней и принимавших разные позы у зеркала. Дети доучились в школе, Марк поехал поступать в Москву и таки поступил, к его, Василия, хмурому удивлению и Саркиному ликованию.

Когда, при Сталине еще было, стали теснить евреев, ему это не понравилось. Ему вообще не нравилось, что творила эта власть, а уж на евреев, с которыми жизнь его так тяжело и крепко связала, он имел личное право. Он сам, а не по свистку начальства, будет решать, любить ему их или ненавидеть, или любить и ненавидеть совместно...

Он даже чуть не поколотил, работал с ним вместе, начавшего хаять при нем евреев. И поколотил бы, если бы тот, почувствовав его взгляд, не стал пятиться: «Ты чего?.. чего, а?» «Ничего», — ответил Василий, разжимая кулак.

Сарка что-то чувствовала. Вдруг начинала плакать, опустив голову, упершись лбом в горбатый свой «Зингер».

«Страшно мне с тобой», — сказала ему как-то, поправляя на нем сорочку.

С годами его щеки ввалились, а глаза, наоборот, стали выпирать, точно от базедовой болезни, которой, к счастью, не имел.

Чем больше старел, тем больше рос в нем аппетит к жизни. Каждое утро он обливал себя холодной водой; капли весело сползали по его крепкому жилистому телу. Он полюбил кефир в бутылках зеленоватого стекла. Только от курева не мог себя отвадить. Жажда жизни всходила в нем, как квашня под тряпкой. Он боялся. Он боялся, что у него возьмут и отберут эту жизнь, темную, унылую, с темными и унылыми людьми, толкавшими его в трамваях и очередях. Что его признают. Что его будут судить. Что поставят затылком к ледяной стенке. Он мотал головой, отгоняя эти мысли, и сжимал зубы. Зубы у него, кстати, кроме двух, выбитых в молодости, были в комплекте. Не то что у Сарки, не вылезавшей в последние годы из страшного зубоврачебного кресла.

И тут вот оно и случилось. И ведь не хотел тогда в больницу идти, да Сарка потащила. Родственник, то-сё... «Ну и шо, шо дальний, другой родни нема...» Поплелся с ней; а там в палате лежит этот ее родственник, после инсульта. Лежит и смотрит. И Василий на него, походя, глянул. И как пишется в книжках: «Их глаза встретились». Так встретились, что у Василия расширились зрачки, и у того тоже, замычал весь, затрясся... Хорошо, что речь после инсульта не вернулась и движения, а то бы тут же и заложил. А Сарка застыла, понять не может.

— Спутал, видать, с кем-то, — сказал ей. — Айда домой, что встала?

Всю ночь он курил и кашлял. Он думал, как убрать этого, который вспомнил его по белорусским делам, и он этого тоже вспомнил. Сарка чувствовала сквозь сон его кашель и запах курева, но молчала. Даже сквозь сон понимала, сейчас не надо. Всё хромоногая понимала.

Под утро в его голом черепе сложился план... Но так там и остался. Потому что в девять утра, когда он, не раздеваясь, вздремнул, позвонили из больницы. Да, ночью. Остановка сердца. Приезжайте, забирайте.

— Шо ты такой счастливый? — глядела на него Сарка, быстро расчесываясь у зеркала.

— Сон добрый бачив, — сказал он.

И не дожидаясь, когда она кончит вошкаться со своими волосами, повалил ее на пол. Зверь, прыгавший в нем от радости, требовал себе выхода.

Он неожиданно полюбил внуков. Римма в Ташкенте вышла за своего Гуральника, Марк в Москве женился на русской, которая на свадьбе оказалась по отцу Гинзбург. Василий снова махнул рукой. Он уже смирился, что его казацкое семя упало на эту хлипкую, но живучую почву; сам же туда его и бросил. А когда внуки пошли, то и об этом думать перестал. И на себе их катал, и протез им свой показывал и гладить разрешал, и с медалью той, «За отвагу», поиграть. Марк привозил своих двоих из Москвы на лето, на фрукты; а Римкины двое, потом четверо, тут, под рукой всегда были. Прибежит: «Пап, можно моих к вам?» «Тащи». Недалеко жили.

После землетрясения их снесли и квартиру дали на Чилонзаре, ему как инвалиду — на первом этаже. Телевизор купили.

Только Сарка... Внешне всё в порядке, если чужим глазом и со стороны. И шить продолжала, хотя уже на зрение жалобы пошли, и что руки дрожат. Внуками занималась, шить учила, Шевченко наизусть и «Грае море зелене» им пела. И вообще, книгами увлеклась, читала их, его пыталась притянуть. А бывали такие дни, что вот встанет, начнет стряпать, а потом вдруг уйдет от плиты и звонит Римме: «Римма, приди, доготовь, не могу...» А сама в темноте запрется. Это еще до того, как диагноз ей поставили.

Или еще вот поехала на кладбище, на Боткинское, кого-то из подруг ее хоронили. Что уж там было или солнце ей напекло, но вот зашла в кладбищенскую церковь и всё, нет ее, потеряла. Римма звонит: где мама? Заказчицы с ума сходят... А Сарка в церкви стоит, плачет. И крестилась там. Римма ей так и сказала: «Мама, ты с ума сошла?» По-доброму, конечно.

А Василий промолчал. Он уже о диагнозе знал. Дети чуть позже узнали.

Это, кстати, ускорило всё. Там медицина, там спасут. Но главное, конечно, не Сарка и ее диагноз; это уже так, гарнир. Просто зачесалось всем. Марк заводилой был; он как физик туда рвался — зажимали его тут. И Лена его, которая по отцу Гинзбург, тоже старалась. Римму сагитировали: подумай о детях, там у них будет и то, и сё, а здесь чего?.. Так что Саркина опухоль в общую копилку пошла. Да и так ясно: что им тут, двум старикам, без детей-внуков? Под семьдесят уже обоим.

Сарка, кстати, не рвалась туда, на родину предков.

— Какая она мне родина? Тут моя родина, тут умру.

— Да, мама, и очень скоро, — вставляла Римма.

Язык у нее был такой же колючий, как у Сарки в молодости.

— Здесь тоже есть медицина, — говорила Сарка.

Тут уже раздавался смех Риммино второго мужа, врача-реаниматора... Разговоры были долгие, шумные и бессмысленные. Сарка повоевала немного и сдалась. Думала, Василий ее поддержит, скажет свое казачье «нет». Но Василий... он-то как раз был готов куда угодно. Куда угодно из этой страны, где до сих пор просыпался ночью под сырым и холодным от страха одеялом. Израиль? Да хоть Израиль, всё лучше. Да и из разговоров он ухватил, что Израиль — не конечная станция, в планах — Америка или Канада, это его еще больше устраивало, только виду не подал. Брал кого-то из внуков и шел на прогулку.

А Сарка по ночам молилась, стала теперь по ночам молиться. Иногда засыпал под это, иногда приходилось голову подушкой... Но это и через подушку проникало.

Они жили в Назарете уже второй год.

Что сказать? Питание было, конечно, первый сорт. Медицина. Сарке почти сразу сделали операцию, он ждал в больничном дворе, слушал вокруг чужую речь и пытался согреть ладони. Нет, удачно все прошло. Удачно...

Повозили их по стране, показывали то-сё. Стену Плача эту. К морю возили. Отметился в нем, поплавал.

И страх прежний из него ушел. Только без страха совсем тяжело стало. Привык, видать, с этим страхом жить, как с протезом. А страх ушел, пустота от него осталась. Такая пустота, что хоть головой о стену, каждая стена ему стеной плача стала. Только самого плача не было ведь; как когда-то ненависть, так теперь пустоту эту и слабость в себе держал. Протез, кстати, ему новый тут изготовили, удобный. Гопака плясать можно.

Сарка чувствовала, глядела ему иногда в глаза. Даже дети чувствовали, хотя все в своих проблемах были. Крепкий, здоровый еще, водой обливается, а глаза пустые. Точно жизнь из них кто-то через соломинку высосал.

Отметили им дети пятьдесят лет семейной жизни, наготовили разных всячин. Стали спрашивать за столом, как они познакомились, как любовь произошла. Сарка насочиняла им что-то, язык у нее всегда с фантазией был. А он молчал.

Одному подарку только порадовался, дерябу ему подарили. «Тр-тр...» Жизнь живее стала, только ненадолго; снова пустота, особенно ночами. Курит в плетеном кресле на веранде, из комнаты Сарка свою молитву плачет, деряба потыркивает. Открытка на стене — «Привет из Святой Земли».

Ну и вот. Еще одну экскурсию решили им сделать. Он не хотел, устал уже от экскурсий и от страны этой. Сарка вытянула: поедем, освежимся, все люди, как люди, и экскурсии, и иврит даже учат, одни мы, как в норе, заперлись... Обычная ее песня.

Поехали.

Марк за рулем, внуков парочка и они с Саркой. Дети трещат, недавний свой Пурим обсуждают. Прибыли в Иерусалим. Сарка побежала сразу в Храм Гроба Господня, а потом уже эта экскурсия...

В Яд ва-Шем их повезли. В музей Яд ва-Шем.

Название это ничего ему не говорило, а то сразу бы «нет». Посидел бы перед музеем на лавочке, воздухом подышал, пока бы они там по своему музею лазали. Но он не знал. А про что этот музей, его не предупредили.

Ладно. Что он, музей не видел? И про Холокост поглядит, любопытно даже стало. Злое такое любопытство разгорелось в нем, хотя сразу уйти надо было. Выйти и сесть на скамейку, а они пусть глядят на эти фотографии.

Только снова к нему этот страх вернулся, живой страх, он даже двигаться быстрее стал, дышать. Точно сила его какая гнала, с этой экскурсией, и заставляла с жадностью глядеть на каждую фотографию...

Пока, наконец, не увидел себя. Ну да, себя.

Он стоял, в немецкой форме, возле рва. Что творилось во рве, неважно. Снимок был любительский и увеличенный, но себя он узнал. Очень хорошо узнал. А потом к фотографии подошла Сарка, почти вплотную, и медленно прикрыла рот ладонью.

Кто-то спросил экскурсовода про нацистских преступников, оставшихся в живых. «Поиски продолжаются», — громко сказал экскурсовод. И что недавно одного из карателей нашли в Аргентине... или Бразилии... Василий уже не слушал. Он глядел на Сарку. А Сарка глядела на фотографию, боясь повернуть к нему окаменевшую шею.

Марк отвез их и притихших детей обратно; дети на полпути снова ожили и стали обсуждать Пурим. А они с Саркой молчали. Марк тоже почти ничего не говорил. Ругал себя, наверное, что повез стариков в такой музей. Жил он не в Назарете, а поблизости, в Афуле. В этой стране всё поблизости.

И наступила тьма. Сарка закончила свою молитву; он слышал, как она зашла в туалет, спустила воду, повозилась над раковиной.

Загасив сигарету, он поднялся с плетеного кресла и вернулся в комнату.

Сарка еще не спала, она сидела на кровати в белой ночной рубашке. Волосы ее были распущены.

Он подошел к ней и медленно поднял. Он сжимал ее, целовал ее щеки, лоб, губы, слабую шею, снова губы. Он вжимал ее в себя, гладил, а она молчала и задыхалась. Так продолжалось долго.

Пора. Он быстро сжал пальцы.

Потом он осторожно опустил ее на кровать. Подумав, поднял туда ее ноги в пушистых тапках. Теперь она вся лежала на кровати, тихая, неподвижная и безопасная.

Он сделал еще несколько шагов, достал приготовленное заранее и быстро проглотил, закашлявшись. Он хотел лечь рядом с Саркой, но, не дойдя до кровати, упал с шумом на пол.

Стало совсем тихо. Только деряба, очнувшись и поклевав немного корма, тыркнул пару раз. И тоже замолк.